Станислав Федотов

Станислав Петрович Федотов окончил Томский университет, радиофизический факультет. Работал на предприятиях оборонной промышленности, учился в аспирантуре института радиоэлектроники, был редактором Западно-Сибирского книжного издательства. Член Союза писателей России, поэт, драматург. Автор одиннадцати книг стихотворений и прозы.
С 2001 года живет в Подмосковье.

Вельможа

Главы из романа

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

За роман о Муравьеве-Амурском я взялся, когда испарилась последняя надежда на создание фильма по сценарию, который в 1999 году мы написали с Валентином Крыловым. Конечно, сценарий был далек от совершенства, но в нем было достаточно материала для полноценной кинодраматургии. Однако, как показал личный опыт, нынешних кинодеятелей и тех, кто стоит за ними и выше, история Отечества не интересует. Высокие гражданские чувства, воспитание истинного патриотизма, то есть любви к Родине, потребительскому обществу не нужны, а потому и тратиться на них никто не желает.

Валентин не дожил до этого жестокого разочарования, может быть, и к лучшему. А я поставил себе цель — написать роман, хотя до того ничего крупнее рассказа или очерка писать не приходилось. Думал: просто добавлю в сценарий кое-какие описания — и все.

Но на деле оказалось не так. Роман потребовал иного подхода к материалу, к характеристикам героев, совершенно иного лексического и грамматического строя, и мне пришлось начать работу заново, используя только отдельные кусочки сценария, и то в переработанном виде.

Быстро писать не получается — постоянно ловлю себя на том, что применяю авторедактирование. И не знаю, пользу это приносит или вред. Результат покажет.

Пока что предлагаю вниманию амурских читателей две главы. Они не связаны напрямую с Дальним Востоком (до него я еще не дошел), но рисуют начало пути Николая Николаевича Муравьева как генерал-губернатора Восточной Сибири.

Станислав Федотов

ГУК "Амурская областная научная библиотека имени

Часть первая

Восточная империя

Глава 3

1.

Выходя из гостиной, генерал в который раз подивился природной деликатности своего адъютанта, поручика Вагранова. Тот, конечно же, слышал музыку и пение и, постучав, не стал вламываться с докладом в покои, как на его месте поступили бы многие адъютанты дворянского происхождения. И сейчас он стоял по правую сторону двери — крепкий, среднего роста офицер с грубоватым обветренным мужественным лицом, которое очень молодили небольшие пшеничные бакенбарды и такие же усы. «Крестьянский сын, мой верный наперсник», — с удовольствием подумал Муравьев.

Увидев генерала, поручик встал по стойке «смирно», но без угодливого усердия:

— Здравия желаю, ваше превосходительство!

— Здравствуй, Иван Васильевич. Что ты чинишься к месту и не к месту? Когда нет посторонних, зови меня по имени-отчеству.

— Слушаюсь, ваше превосходительство!

Муравьев засмеялся, махнул рукой, спросил благодушно:

— Ну что там у тебя?

– Николай Николаевич, там полицейские пьяных привели...

— Что?! — вскинулся Муравьев. Благодушие на лице мгновенно смыло багровой волной. — На часах еще десяти нет, а в городе уже пьяные?..

Он стремительно бросился к выходу, оттолкнув Вагранова.

2.

С пьянством у генерала были, можно сказать, особые отношения.

Его первая отставка из армии после Польской кампании и четырехмесячного лечения болезней, накопившихся за четыре года военной службы (а он с детства, по причине хрупкости сложения и слабости здоровья, был подвержен всяческим простудам и воспалениям), привела к тому, что отец Николай Назарьевич потребовал от него вступить в управление имением Стоклишки. Это имение в Виленской губернии пожаловано было императором своему статс-секретарю в пожизненное пользование. Сам Николай Назарьевич тоже вышел к тому времени в отставку с должности начальника личной Его Императорского Величества канцелярии и осел со второй женой Елизаветой Антоновной, урожденной Моллер, и тремя их дочерьми в своем селе Покровском, неподалеку от Шлиссельбурга. Он успешно занимался сельским хозяйством и полагал, что кто-либо из сыновей должен приложить свои силы к основательно запущенным Стоклишкам. Но сво-

бодным на тот момент оказался лишь самый старший — Николай; второй сын, Валериан, недавний выпускник Пажеского корпуса, успешно продолжал военную службу в чине поручика, а младшему, Александру, исполнилось только одиннадцать, он учился в Лицее.

Пришлось двадцатидвухлетнему штабс-капитану в отставке впрягаться в помещичью лямку. Четыре года он старательно, как ему всегда было свойственно, тянул ее, но Бог, наверное, все же предназначал его для других трудов: на сельском поприще, не в пример военной службе, успехов не было. Из лета в лето Николая преследовали неудачи: неурожаи, обильные дожди, растущие долги (отец требовал отдавать ему накопленные неимоверными трудами деньги, все до копейки). В письме любимому брату Валериану он жаловался с непривычной для его энергичной натуры тоской: «...все мои дела, все мои отношения, все мои обстоятельства, намерения, виды и расчеты так спутались, так затмились — и все мне на беду, все мне на горе, на неприятные хлопоты, — что я начинаю терять и терпение, и философию, и энергию...» Тогда-то он и познал, что такое безоглядное пьянство. Нет, конечно, он и раньше не прочь был распить бутылочку хорошего вина в офицерской компании; были случаи, что и перебирал, но — каждый день до полного затмения, да и не вино, на которое не было денег, а вонючую деревенскую сивуху — увольте! Это было противно его уму, его натуре, и тем не менее...

Не однажды с содроганием душевным вспоминал Муравьев тот поздний октябрьский вечер, когда скакавший в Вильно по служебным делам брат Валериан заехал переночевать в отцовское имение. Поручика никто не встретил, поскольку в большом барском доме слуг почти не было — кухарка и камердинер Флегонт, крепостной Николая Назарьевича, отряженный к сыну с самого первого дня его службы в полку, давно спали. Валериан, не раз бывавший в Стоклишках и знавший, кто где обретается, сам разбудил конюха и сдал ему коня. Потом, звеня шпорами и, как ни странно, нигде ни за что не зацепившись в кромешной темноте, добрался до комнаты старшего брата.

Николай сидел за столом, на котором горела единственная свеча в медном подсвечнике и стояли ополовиненный штоф толстого зеленого стекла и несколько тарелок — с квашеной капустой, солеными огурцами, жареной с мясом картошкой. В руке его посверкивала гранями большая хрустальная рюмка. Николай только что выпил и задумчиво вертел ее в пальцах. Увидев Валериана, он вскочил, опрокинув стул, нетвердо шагнул навстречу и припал к груди брата, обнимая его обеими руками. Потом поднял лицо — Валериан был выше на полголовы, — и они расцеловались. От Николая густо пахнуло сивушными ароматами.

— Как я рад!.. Как я рад!.. — повторял он, помогая брату снять «николаевскую», с пелериной, подбитую кроличьим мехом шинель. Суконный, с опушкой, кивер Валериан небрежно кинул на диванчик у стены.

Николай достал из настенного шкафчика еще одну рюмку, тарелку, вилку, устроил брата за столом. Хотел плеснуть из штофа, но Валериан остановил его:

— Что ты пьешь всякую гадость?! — И вынул из внутреннего кармана шинели плоскую фляжку. — У меня тут арманьяк…

Выпили по рюмке пряно пахнущей маслянистой жидкости — от удовольствия даже в носу защипало. Валериан в отсутствие лимона и сыра закусил огурцом и картошкой. Николай закусывать не стал, покрутил лобастой головой:

— Стоило нектар переводить! Я уж лучше самогончику...

— Не узнаю тебя, брат, — удивленно протянул Валериан. — Видно, частенько прикладываешься к штофу, коли у тебя с сивухой столь фамильярные отношения. Спиться не боишься?

— Боюсь, — мрачно признался старший брат. — А что прикажешь делать, мой любезный Валера, ежели на каждом шагу терплю поражение за поражением? Вот — осыпалась пшеница, потому что нет денег, чтобы нанять крестьян на уборку. Ты же знаешь: крепостных в Стоклишках нет, а своих, из Покровского, папенька не дает... Коров никто не хочет брать в аренду, поскольку масло и разные там творог и сметана на рынке все дешевеют и дешевеют. Кому охота за гроши спину гнуть?.. — Николай дрожащей рукой налил из штофа в свою рюмку, опрокинул в рот, выдохнул и бросил туда же щепоть капусты. Прожевал, глядя на дрожащий огонек свечи. Валериан молчал. Брат тяжело вздохнул. — А в казну платить очередной взнос — это полторы тысячи рублей, где их взять? Ты знаешь, я давно уже похож на Сизифа с его камнем. Качу-качу его в гору, а он — рраз! — и вниз... И ко всему еще — полнейшее духовное одиночество!

— Жениться тебе надо. Двадцать восемь лет уже...

— Ага! Ты вон женился. Сколько я тебе советов давал, как строить отношения с родителями невесты, каждый день писал — а что толку? Папенька наш сказал: нет! — и все усилия пошли прахом... Да и не нравится мне никто.

— Знаю, знаю, кто у тебя на сердце. — Валериан налил себе арманьяку, а брату — мутноватой жидкости из штофа. Встал. Николай тоже поднялся. — За здоровье Великой княгини Елены Павловны!

Выпили, сели.

— Все, все мне опротивело! — Николай так резко стукнул рюмкой по столу, что у нее отвалилась ножка. Удивленно посмотрев на обломки, отодвинул их в сторону. — Представляешь, Валера, мне даже сны стали сниться препротивные. Вижу мертвых в гробах, все они полусгнившие и смотрят на меня... Поля вижу, засеянные сгнившей пшеницей... И люди вокруг меня незнакомые, злобные... Раньше я мог сказать: «Что будет, то будет!» — и оставался спокоен в любых передрягах, а теперь постоянно предвижу худое, и все — представляешь? все! — сбывается.

Валериан с изумлением смотрел на старшего брата — у того по щекам текли слезы. Николай двумя ладонями вытер их и по-детски шмыгнул носом:

— Вот такие дела, брат: горюю и во сне, и наяву. Только бутылка и утешает…

— Надобно тебе вернуться на службу. Попросись к Головину. Он теперь военный губернатор Варшавы.

— Писал мне Евгений Александрович, приглашал...

Николай познакомился с генерал-лейтенантом Головиным во время Турецкой кампании. Лейб-гвардии Финляндский полк, в котором Муравьев начал службу прапорщиком по окончании Пажеского корпуса, после взятия крепости Варны был отправлен обратно в Россию, но подпоручик Муравьев остался по причине болезни. А честно говоря, ему страшно хотелось поучаствовать еще и во взятии второй важнейшей турецкой крепости — Шумлы. Тут его приметил начальник 19-й пехотной дивизии, только что назначенный генерал-губернатором Варны, и взял к себе в адъютанты. Следует сказать, что юный подпоручик вовсе не желал быть «паркетным офицером»: он принимал живейшее участие в десантной операции в Бургасский залив, командовал взводом при взятии Сизополя и более чем исполнил свою мечту при штурме Шумлы — был в числе первых врывавшихся на три последних редута крепости. Теперь же он впервые вникал в дела гражданского и военного управления Варной. Причем занимался этим со всей тщательностью, хотя и не был уверен, что эти знания и умения когда-нибудь могут пригодиться.

Не забыл Головин про своего адъютанта и в Польскую кампанию, когда был назначен командиром 26-й пехотной дивизии. Живой ум, дипломатическая гибкость, проявленная юным порученцем в переговорах с командирами мятежников, стремление доводить любое дело до конца, мягкое отношение к солдатам и строгое, даже жесткое, блюдение чести офицера — все эти черты Муравьева оказались настолько близки чаяниям генерала, что он относился к Николаю, как к родному сыну, тем более что сына-то как раз у него и не было. Он весьма сожалел, что адъютант ушел в долгий отпуск, а потом и вовсе в отставку, но из виду его не выпускал, ведя хоть и не оживленную, но регулярную переписку.

— А ты что решил? — отвлек брата от размышлений Валериан.

— Да не решил я... Военной должности у него нет, обещает протекцию по гражданской части. Но это противно и моим правилам, и моему честолюбию — ты же знаешь, сколь оно у меня обширно. По моему разумению, лишь военный путь обещает рано или поздно возвышение, а на гражданской службе замараюсь сослужением со всякими канальями, унижу себя не только в глазах общества, но и в своих собственных...

— А здесь ты погибнешь!

— И то верно, брат, — вздохнул Николай. — Печень стала побаливать. Волей-неволей, а придется прислониться к Варшаве.

Муравьев стал чиновником особых поручений в комиссии народного просвещения Царства Польского, но пробыл в этой должности очень недолго. Головина назначили командиром отдельного Кавказского корпуса, и Муравьев не пожелал ни дня служить после его отъезда. Он вернулся в Стоклишки и еще сильнее затосковал по деятельной военной службе. Писал военному министру прошения о возвращении в армию, а именно — на Кавказ, где в то время от Каспийского до Черного моря кипела война с горцами. И 27 апреля 1838 года определен был в чине майора к генералу от инфантерии Головину офицером для особых поручений.

Провоевав под началом Головина два года в Дагестане и Чечне, получив серьезное ранение при штурме неприступной крепости Шамиля, тридцатилетний подполковник Муравьев был назначен на должность начальника 2-го, чуть позже переименованного в 3-е, отделения Черноморской линии, в связи с чем произведен в полковники. В состав отделения входила Абхазия — девять крепостей и укреплений, защищаемых линейными батальонами. Большая самостоятельность и несравнимо бульшая ответственность при строительстве укреплений, организации экспедиций против немирных горских племен, при извечном муравьевском честолюбивом стремлении выкладываться полностью и того же требовать от подчиненных, в первую очередь от офицеров, которые не упускали случая пожаловаться на нового начальника командующему Черноморской линией генерал-лейтенанту Раевскому, — все это не однажды подводило полковника к нервному срыву. А лучшее лекарство от срыва — алкоголь.

Отрезвил его, как ни странно это звучит, пьяный скандал, устроенный им подполковнику Филипсону, прибывшему по приказанию Раевского из штаба линии с инспекционными целями. Штаб находился в Крыму, в Керчи, в курортных, по мнению Муравьева, условиях, и офицеры его чувствовали себя отнюдь не на кровопролитной войне, которую несли на своих плечах начальники отделений и их подчиненные. Накануне приезда Филипсона непокорные джигеты * вырезали маленький гарнизон одной из башен. Муравьев был страшно расстроен, выпил лишнего и, когда подполковник поинтересовался его успехами в покорении особенно воинственных убыхов ** — а успехи были, и немалые, за что вскоре Муравьеву был высочайше пожалован чин генерал-майора, — начальник отделения вспылил и выложил инспектору все, что думал о штабе, командовании линии, самих инспекциях и прочая, и прочая. Надо отдать должное Григорию Ивановичу Филипсону: он ценил и уважал Муравьева как хорошего администратора, скоро и усердно справлявшегося с делами своего отделения, и не стал докладывать «наверх» о случившемся. Сам же Николай Николаевич последующие два-три дня стыдился встречаться с подполковником и дал себе зарок никогда и ни при каких обстоятельствах не выпивать больше одной рюмки водки или бокала вина.

Зарок свой он не нарушил ни разу. Более того, обнаружил в себе душевную потребность бороться с пьянством как со вселенским злом. Она особенно укрепилась в нем, после того как по возвращении с заграничных минеральных вод его перевели в Министерство внутренних дел (с оставлением по армии — это было в порядке вещей: император считал, что военные с их опытом в дисциплине успешней других наводят порядок в гражданских делах) и направили с ревизией в Новгородскую губернию. Вот где и пригодились знания и умения, полученные в Варшаве, вкупе с природной муравьевской тщательностью. Губерния была бедная, и бедность эта происходила

---

* Джигеты (джихи) — одна из групп абхазского народа.

** Убыхи — одно из горских племен Западного Кавказа. В 1878 г. выселились в Турцию.

не только от скудости земли или беспорядков в гражданском управлении, но и от повсеместного запустения из-за неумеренного пьянства. И потому одним из своих первых распоряжений по вступлении в должность тульского гражданского губернатора и военного губернатора Тулы (назначение состоялось 16 июня 1846 года) он ограничил время продажи спиртного в Туле и уездных городах. Нарушителям грозило суровое наказание.

3.

На нижних ступеньках высокого крыльца двухэтажного губернаторского дома в мундире и при шпаге стоял полицмейстер. Всем своим видом он был устремлен вверх, к парадному входу. Позади него полицейские держали под руки двух пьяных мужиков. Быстро вышедший, можно сказать выскочивший, на крыльцо губернатор не удостоил их даже взгляда. Увидев начальство, полицмейстер резво бросил правую руку к треуголке, полицейские вытянулись, не выпуская, однако, задержанных из рук.

— Господин полицмейстер, я приказывал пресекать пьянство?! — яростно закричал Муравьев, брызгая слюной.

— Так точно, ваше превосходительство, — обмирая, снова отдал честь полицмейстер. — До десяти часов в будние дни никому ни капли!

— Двадцать плетей каждому, для острастки. А целовальнику, каналье, — сорок, чтобы знал, кому и когда наливать.

— Права не имеете, — угрюмо сказал один из пьяных. — Мы не крепостные.

Муравьев так удивился, что посмотрел на мужиков сначала через перила, потом спустился по ступенькам и встал перед ними, заложив руки за спину и внимательно вглядываясь в каждого. Один из них, широкоплечий и коренастый, был в просторной полотняной рубахе, перехваченной плетеным шерстяным пояском, плисовые штаны под коленями упрятаны в онучи, на ногах — лапти. Из круглого выреза рубахи выпирала мощная, коричневая от загара шея, на которой крепко сидела русоволосая голова, стриженная под горшок. Ярко-рыжая борода закрывала половину круглого лица, на котором выделялись толстый красноватый нос и голубые глаза. Второй, смуглый, черноусый и черноволосый, среднего роста, одет был по-европейски — в клетчатую рубашку с отложным воротником, серую куртку, полосатые брюки навыпуск, на ногах грубые башмаки на толстой подошве, на голове суконная фуражка. Для российской глубинки, каковой, по сути, являлась Тульская губерния, мужик этот был фигурой чужеродной, отметил Муравьев, вон и одет так, как будто только что прибыл откуда-нибудь из Англии или Германии. Его и мужиком-то называть было как-то неуместно. Во Франции ему запросто говорили бы «месье», подумалось вдруг генералу. Ну так то во Франции. Там, кстати, водкой с утра не нажираются.

И от этой мысли он снова взъярился:

— Значит, я не имею права тебя уму-разуму учить? А ты имеешь право жизнь на водку менять?

— Моя жизнь, — сказал чернявый. — Захочу — пропью, захочу — Отечеству отдам, а захочу — на франки обменяю. И вообще: я — подданный французского короля.

— Вон, значит, ты откуда явился... Но там, друг любезный, человек знает не только свои права, но и обязанности. А с утра пьют лишь бродяги да бездельники. Добавьте ему еще десяток! — жестко сказал губернатор и недобро усмехнулся, встретив яростный взгляд чернявого. Рыжебородый вздохнул и понурил голову.

— Ваше превосходительство, — подал голос с крыльца вышедший следом за губернатором Вагранов, прерывая процедуру наведения порядка, — этот рыжий — столяр знатный Степан Шлык, он всю вашу мебель изготовил...

— Господин поручик, — ледяным тоном отчеканил Муравьев, — прошу не вмешиваться. Поблажек от меня не будет никому. Если мастер с утра пьян — тем хуже для него.

В раскрытые ворота ворвался конник — офицер-фельдъегерь. Его мундир и ботфорты были покрыты пылью, на бритом лице потеки пота оставили грязные следы. Не слезая с лошади, фельдъегерь вскинул два пальца правой руки к козырьку высокого кивера, а левой вынул из кожаной сумки на груди и подал Муравьеву небольшой пакет под сургучной печатью.

— Господин губернатор, срочная депеша от министра двора Его Императорского Величества. Ответ ожидается немедленный.

Муравьев вскрыл пакет, пробежал глазами короткий текст, из которого явствовало, что император Николай Павлович по пути на юг проследует через Тулу 5 сентября ночью без остановки, а господину губернатору надлежит явиться на прием поутру на ближайшей за Тулой станции.

Сердце облило холодом: почему государь не пожелал остановиться в Туле? Губернатор еще в августе был извещен министром внутренних дел Перовским о путешествии царя на юг и, естественно, готовился к его проезду тщательнейшим образом. А тут вдруг... Неужто что-то из его действий на высоком посту вызвало монаршее неудовольствие? Кляузников из губернских чиновников, конечно, более чем достаточно: многим он, Муравьев, за год успел наступить на любимую мозоль. Особенно взяточникам — столько развелось их в каждом присутствии, не приведи господь! И каждый, не щадя живота своего, печется о деле государевом, о благе народном. С-сукины дети!..

— Передайте его высокопревосходительству: все будет исполнено в точности, — произнес генерал, четко разделяя слова. — Вагранов, позаботься о смене лошади.

Вагранов сбежал с крыльца, скрылся за углом дома — там была личная конюшня губернатора — и через минуту появился уже верхом. Фельдъегерь снова откозырял, и они унеслись вдаль по улице.

Муравьев проводил их задумчивым взглядом и обернулся к полицейским:

— А вы исполняйте что приказано.

4.

Мужиков приволокли в полицейскую часть, в съезжую избу, где все было заранее приготовлено к возможным экзекуциям: через равные промежутки стояли три широкие лавки, потемневшие и выглаженные до маслянистого блеска многими обнаженными телами; на бревенчатой стене висели кнуты и плети, в ушате мокли розги.

Муравьев не знал столяра в лицо, потому что дела с ним вели Вагранов, бывший в доме за управляющего, и Екатерина Николаевна, но имя слышал. А спросить, как зовут второго задержанного, ему и в голову не пришло, — но полиции они были хорошо известны оба. И не потому что мужики нарушали какие-то установления, — нет, за исключением злополучной утренней выпивки, никаких грехов за ними не водилось. Просто рыжебородого Степана Шлыка, почитай, вся Тула действительно знала как мастера золотые руки, а черноусый Григорий Вогул был у него на подхвате. Вогул полгода тому назад объявился в Туле и был немедленно взят под пригляд полиции. Родом он оказался из уездного городка Ефремова, сын лекаря из крепостных, получившего «вольную» со всем семейством за излечение хозяина от какого-то смертельного недуга, а вот паспорт имел французский на имя Жоржа Вогула. Все отметки о пересечении границы были на месте, но сам приезд «Жоржа» вызывал недоумение и недоверие: что он тут забыл? Объяснение, что, мол, пригнала тоска по родине, которую Вогул покинул семь лет назад, отправившись в Германию учиться медицине, что он немало горького хлебнул на чужбине и теперь хочет надышаться родным воздухом, прежде чем вернется в Европу для продолжения медицинского образования, воспринималось полицейскими чинами как сумасшествие. Но — придраться было не к чему, и его не трогали.

А выпили они со Степаном от усталости: всю ночь не покладали рук, заканчивая заказ одного купца — огромный буфет красного дерева. Между прочим, мебель губернатору делали втроем — третьим был сын Степана Шлыка Гринька — по собственноручным рисункам Екатерины Николаевны, и гарнитур получился такой стильный (хозяйка назвала его empire légère *, такой изящно-фигурный, что все, кто бывал в доме губернатора, не верили, что эти столы, стулья, кресла, диваны не прибыли из Франции, а сработаны тульскими мужицкими руками. После этого у Шлыка не было отбоя от заказчиков, вот и сахарозаводчик Баташов заказал буфет.

Утром точно в срок столяры сдали работу, получили расчет и отправились отдыхать. А по дороге завернули в кабак, дабы слегка воспарить. И выпили-то всего ничего, но вдруг разморило, а тут — полиция. По правде говоря, их бы отпустили восвояси — кому нужны лишние хлопоты? — но на беду попались на глаза полицмейстера, а тому приспичило выслужиться перед губернатором: вот, мол, как зорко он следит за порядком. Ну и получилось то, что получилось.

---

* Empire légère — легкий ампир (фр.).

Привели целовальника. Лысый жидкобородый мужичок в суконной, обшитой бархатом поддевке и юфтевых сапогах обливался слезами и без конца крестился.

— Ну, мужики, не повезло вам, — сказал участковый пристав. Полицмейстер убыл в управление, и он остался за главного. — Разоблачайтесь до пояса и ложитесь на лавки.

Горестно вздыхающий Шлык и всхлипывающий целовальник покорно разделись и улеглись. Вогул и не подумал подчиняться — стоял, скрестив руки на груди.

— А тебе, француз, особое приглашение требуется? По-русски уже не понимаешь?

— Права не имеете, — процедил Григорий. — Я буду жаловаться.

— Вот выпорем и — жалуйся за милую душу. На губернатора. Он, такой-сякой, пьянствовать не дает. Можешь по Министерству внутренних дел жаловаться — самому Перовскому. Можешь прямо императору писать. По-французски. Он поймет.

Полицейские прыскали в кулак, а Вогул еще больше мрачнел, представляя, каким жалким и смешным он выглядит в глазах этих простецких служак. Ну подумаешь, тридцать плетей! Это тебе не сотня шпицрутенов, когда вся спина превращается в кровавое месиво и потом месяц валяешься на больничной койке. Но там, в Иностранном легионе, среди боевых товарищей, шпицрутены не были унижением, а здесь, на родине, эти ничтожные плети кажутся нестерпимыми…

Приставу надоело ждать, и он подал знак полицейским. Вогулу заломили руки, сорвали с него куртку и рубашку, так что посыпались пуговицы, и бросили тело на лавку, зажав руки и ноги.

И все обомлели. Спина Григория от лопаток до пояса представила глазам страшную мешанину красно-сизых рубцов. Пристав крякнул:

— А ты, друг любезный, не музавер? — Музаверами на Тульщине, Орловщине иногда называли злодеев. — Где это тебя так разуделали?

— Не ваше дело, — сквозь зубы выцедил Вогул.

— Не наше, — согласился пристав. — Пока — не наше, а там — как Бог даст. Только будь ты к нам поотзывчивей, и мы бы вошли в твое положение. А так, друг ситный, — не обессудь…

Но, несмотря на безжалостные слова, пристав дал знак исполнителю: ты, мол, не усердствуй. Кнутобоец на съезжей был умелый. Выбрал для Вогула плеть помягче, без узлов, и не хлестал, а будто прикладывал ее то так, то этак. За тридцать ударов — на спине ни одной полоски. Вогул удивился, поднял голову и встретился взглядом с приставом — тот усмехнулся и подмигнул. Но Григорий благодарности не преисполнился: глаза его оставались мрачными и отчужденными.

После тридцатого удара полицейские отпустили его руки и ноги. Вогул медленно поднялся, надел рубашку, взял куртку и вышел во двор, сел на лавочку. Кто-то из служивых вложил ему в руку собранные с полу пуговицы. Вогул мельком глянул на них, сунул в карман. Где-то внутри груди в пустоте

гулко стучало сердце, на душе было мерзко. Сквозь листву берез, еще не тронутую осенью, щедро светило солнце, но мир казался серым и отвратительным. Ненависть слепила глаза. Ненависть к самодовольному и чванливому губернатору, ненависть к самому себе, дураку, истосковавшемуся по родным березкам. Ну вот они, березки, шепчутся, заигрывают с ветерком, и дела им нет до тебя и до твоих мучений. Чем же они тебе родные? Нет, тысячу раз прав был лейтенант Анри Дюбуа: родина там, где тебе хорошо. Где ты сыт, обут, одет, где у тебя есть женщина, где тебя уважают, черт возьми! А ты расслюнявился: ностальжи, ностальжи, — бросил свою ласковую Сюзанну и прискакал к отцу-матери, к родителям еще не старым. А вот шиш тебе — нету ни отца, ни матери: три года как ночью дом сгорел и они вместе с домом. Осталась одна сестра в избушке-землянушке на окраине Ефремова. Поплакали с сестрой на могиле родительской, отдал ей Григорий все деньги, что были у него с собой, и подался в Тулу, чтобы заработать на обратную дорогу во Францию. Тут Шлык его и прибрал. Наверно, потому, что пришелся Вогул тёзой его единственному и любимому сыну, двадцатилетнему Гриньке.

Ах, Шлык, Шлык... Угораздило же тебя соблазниться чаркой водки с утра пораньше. Вот и расплачивайся теперь собственной шкурой. Хорошо, Гриньку с собой не взял на расчет: пожалел — уж больно сладко спал парень перед вечёркой с девками. А то бы и ему всыпали. Вон отца порют — только плеть свистит…

Со Шлыком и целовальником обошлись на съезжей несравнимо круче, чем с Вогулом, хотя тоже без крови. Степан выдержал порку стоически. Сам встал, оделся, поклонился приставу. А вот целовальник взвизгивал после каждого удара, на семнадцатом затих — обеспамятел. Пришлось приводить его в чувство, окатив водой из ведра.

Вогул и Шлык брели по пыльной улице.

— Попомнит меня губернатор, — мрачно сказал Григорий. — На узкой дорожке нам не разойтись.

— Да ладно тебе, Вогул, — уныло откликнулся Степан. — Учили-то за дело. Нашему брату, значитца, волю дай — все пропьем. Музда * нам надобна, музда.

— Эх ты, темрей ** ! — усмехнулся Вогул. — Узда ему надобна, а не воля вольная. Я, Степан, вдосталь ее хлебнул, воли-то, и ничего, не пропил. И не генералу учить меня уму-разуму... Я сам себе генерал. В умных-то странах так живут.

— Так то в умных... — вздохнул Степан. — А все ж таки ты губернатора не трожь. Он здесь всего-то год с прибытком, а столько доброго изделал...

— И чего же он такого доброго сотворил? — ядовито спросил Вогул. — То ли я не знаю! О тюрьмах позаботился, лес запретил рубить, собрался пристани на Оке устраивать… Так он по должности обязан о том заботиться. За это его благодарить?

---

* Музда — узда (местн.)

** Темрей — темнота (местн.)

— А почему бы и нет? В тюрьмах тоже, небось, не свиньи обретаются. И леса изводить — чего хорошего? И пристани, значитца, надобны. А мостовые в городе — разве ж не лепо? А еще, люди сказывают, он царю писал супротив крепостной повинности и помещиков тульских звал подписаться...

— И что, нашлись дураки?

— А и нашлись! Князья Голицыны, Норовы, кто-то еще... Только, значитца, мало их. Царь, навроде, ответил: вот ежели б все подписались, он бы крепостных освободил...

— Ежели бы да кабы, да выросли бы во рту грибы, дак был бы не рот, а целый огород. Мало ли обо что языки мочалят — разве можно всему верить?

— Люди, значитца, зазря говорить не будут, — упрямо сказал Шлык. — Вона, сказывают: царь нашего генерала надо всей Сибирью начальником ставит.

— Бедная Сибирь! — скривился Вогул.

Глава 4

1.

В тот же вечер, ближе к полуночи, губернатор Муравьев не спеша облачился в парадный мундир, проверил ордена, пристегнул генеральскую полусаблю, перед зеркалом выправил на голове треуголку с плюмажем. Екатерина Николаевна и Вагранов придирчиво осмотрели экипировку, расположение орденов на мундире. Их было немало: две степени Святой Анны — с бантом и императорской короной, две степени Святого Владимира (один с бантом), полный Святой Станислав (один с короной) да серебряная Георгиевская медаль и знак отличия за военное достоинство…

— Иван, как ты думаешь: может, мне вместо полусабли золотую шпагу наградную взять? — раздумчиво спросил губернатор.

— Оно бы, конечно, лучше. Сабля — по чину, а шпага — за храбрость! С самим императором говорить — по моему разумению, особая храбрость нужна, — осторожно отозвался верный наперсник.

Екатерина Николаевна не поняла, о чем они говорят, и переводила вопросительный взгляд с одного на другого. Муравьев заметил и засмеялся:

— Мы говорим, не стоит ли на всякий случай защититься, — пояснил он по-французски жене. — С помощью золотой шпаги.

Муравьева оценила шутку и тоже засмеялась.

— Ви объязательно верньотесь победителем, — старательно выговорила она. — Так, Иван?

— Так точно, матушка Екатерина Николаевна! Генерал вернется только со щитом!

— Вашими устами да мед пить, — грустно усмехнулся генерал, но нарушать устав не стал. Шпага, полученная им за храбрость в сражениях с мятежными поляками шестнадцать лет тому назад, осталась висеть на стене в губернаторском кабинете.

2.

Императорский поезд из двух десятков карет, колясок и прочих служебных повозок не остановился ни на ближайшей к Туле станции, ни на следующей. Николай Павлович торопился, но куда и почему — никто не знал. Может быть, имелся какой-то политический резон, однако император не поделился им ни с канцлером и министром иностранных дел графом Нессельроде, ни с военным министром светлейшим князем Чернышевым — и тот и другой остались в Петербурге, ни с человеком доверенным, поскольку во многом мыслил с ним одинаково, министром внутренних дел Перовским, всю эту дорогу сидевшим с царем в одной карете. А скорее всего, эта спешка была еще одним проявлением неуемной натуры Николая Павловича. Все до сих пор хорошо помнили, как он самолично командовал разгромом мятежников на Сенатской площади; как два года спустя возглавил поход против Турции и всю кампанию был фактическим главнокомандующим, хотя номинально им числился генерал-фельдмаршал Витгенштейн; как живо занимался строительством железной дороги в Царское Село, а теперь — большой, двухпутной, которая скоро соединит две столицы. По сути, пробыв на троне двадцать два года, император так и не обучился тонкостям отношений в высшем свете, остался прямолинейным офицером и военным инженером. Одни им восхищались, другие называли солдафоном (благодаря тайной полиции он знал о тех и других, но не обращал на них внимания). Рассказывали байку, как он, после доклада главноуправляющего путями сообщения графа Клейнмихеля о спорах по пунктам прохождения на местности железной дороги Петербург — Москва, соединил на карте линейкой обе столицы и прочертил карандашом маршрут. Некоторые добавляли при этом: мол, чем не Александр Македонский с его Гордиевым узлом? Он не любил, когда с ним хитрили, скрывали правду; над серьезными вопросами долго думал, но, если принимал решение, требовал быстрого и неукоснительного его исполнения. В общем, о нем никоим образом нельзя было сказать по-пушкински — «правил, лежа на боку». Император и спал-то совсем помалу. В его рабочем кабинете за ширмой стояла походная койка, застеленная суконным солдатским одеялом: засиживаясь за полночь над сложными государственными вопросами, Николай Павлович нередко падал на нее, не раздеваясь, а сняв лишь сапоги, и отдавал Морфею три-четыре часа отдыха. Впрочем, койка сия знавала и романтические встречи, но об этом, естественно, помалкивала.

Император прикрыл глаза, вспомнив вечер накануне отъезда из Петербурга. Он уже, что называется, голову сломал, ища, кого назначить новым генерал-губернатором Восточной Сибири. Бывшего до того десять лет на этом посту генерал-лейтенанта Руперта сенаторская ревизия во главе с графом Толстым уличила в таком множестве злоупотреблений, вплоть до мздо-

имства, что новый канцлер Нессельроде, человек весьма щепетильный в отношении чиновничьей честности, настоятельно предлагал предать генерала суду: мол, «он не может оставаться в нынешнем своем звании и пользоваться далее доверенностью правительства по управлению отдаленным краем». Однако, зная об особой приязни императора к боевым офицерам, защитники Руперта упирали на заслуги его в войнах с Наполеоном и Турцией, и Николай Павлович решил спустить все на тормозах, уволив проворовавшегося вояку в отставку «по прошению», то есть с полным пенсионом.

Но уволить-то легко, а кого на освободившееся место? Восточная Сибирь, этот громаднейший край от Енисея до Тихого океана, не могла долго оставаться без правящей руки, а рука требовалась крепкая и жесткая, может быть, даже жестокая, чтобы приструнить распоясавшихся мздоимцев и казнокрадов, охранить интересы великой России перед лицом не только Китая и Японии, но и рвущихся к азиатским берегам океана Франции и Англии. Кто же, кто же, кто же сможет выполнить эту невероятной трудности миссию?.. Лев Алексеевич Перовский осторожно предложил молодого генерал-майора Муравьева, уже год управлявшего Тульской губернией.

Император поморщился:

— Но ты же знаешь, как я отношусь к Муравьевым. Сколько их участвовало в мятеже на Сенатской? Восемь? Восемь офицеров в одночасье нарушили присягу, данную престолу и Отечеству!..

— Но, государь, один из замешанных в декабрьском бунте, Михаил Муравьев, по вашему же назначению с тридцать первого по тридцать пятый год был даже гродненским губернатором, а потом возглавлял департамент...

— Да помню я, помню, кого сам назначал, — раздраженно перебил император министра. — В Гродно требовался хороший конюший — дабы взнуздать этих норовистых польских жеребцов, что тот Муравьев и исполнил... Сибирь же — совсем иное дело!..

— Вот именно, иное, Ваше Величество. Просторы сибирские неохватны, инородцев много, с китайцами надобно ухо востро держать. Да и о возвращении Амура, восточного крыла России, пора подумать. А это все по силам лишь молодому, поистине героическому человеку, каковым, по моему разумению, показал себя генерал-майор Муравьев, старший сын ныне покойного Николая Назарьевича Муравьева... Кстати, бывшего при вас статс-секретарем. Генерал Муравьев блестяще проявил свои административные качества при ревизии Новгородской губернии и на посту тульского губернатора, а кроме того, он — явно способный дипломат. Во время Польской кампании по поручению генерал-лейтенанта Головина вел переговоры с Ромарино и другими польскими мятежниками на предмет их сдачи русским войскам, а в Абхазии ему фактически одному удавалось без сражений замирять воинственных убыхов и джигетов...

Николай Павлович слушал министра, не перебивая, потом жестом остановил его горячую речь.

—Ты так за него ратуешь, словно он — твоя единственная надежда на поприще внутренних дел.

Сказал серьезно, без тени улыбки, но чуткое ухо Льва Алексеевича уловило усмешливую иронию. И ответил министр в том же духе:

— Надежд много, да не все сбываются, Ваше Величество...

— А эта, думаешь, сбудется?

— Уверен, государь!

— Ладно, подумаю. Ты на меня, Лев Алексеевич, не дави...

На том разговор и кончился. Император думал, вертел в уме и так и сяк разные кандидатуры, но к окончательному решению пока не пришел. Хотя время поджимало, да и среди высшего света пошли гулять разные вздорные слухи, умаляющие престиж помазанника Божьего. А накануне отъезда, поздним вечером, в рабочий кабинет Николая Павловича постучала милая его сердцу невестка Елена, жена брата Михаила.

Он встретил ее на пороге, словно ждал этого визита. Да что скрывать, конечно, ждал, поскольку брат еще утром ускакал в Москву, а затем и далее — проинспектировать подведомственные ему армейские подразделения и военные учебные заведения, если вдруг императору захочется их посетить. Ждал, потому что нежно любил Елену, красавицу и необыкновенную умницу, любил с ее первого приезда в Россию, когда она, шестнадцатилетняя принцесса вюртембергская Фредерика Шарлотта Мария, стала невестой Михаила. Сам Николай к тому времени был уже семь лет как женат на принцессе прусской Шарлотте Каролине, в православии принявшей имя Александры Федоровны, и имел сына Александра и дочерей Марию и Ольгу. Но, увидев будущую невестку, ощутил жутко болезненный укол в сердце и с удивлением понял, что это — укол зависти и ревности. Он уважал свою жену, исправно исполнял супружеский долг и даже иногда откликался на ее, в общем-то, традиционные ласки. Понимал, что положение обязывает следовать завету бабки Екатерины Великой — Романовым жениться на принцессах и выходить замуж за принцев исключительно немецкой крови, ибо это гарантирует хорошую наследственность и прочность семьи, а следовательно — незыблемость императорского дома.

Всего лишь через два с половиной года, в декабре 1825-го, Николай убедился, что бабка была абсолютно права. Единственный случай нарушения этого правила — развод Великого князя Константина Павловича с женой, бывшей герцогиней саксен-кобургской Юлианой (Анной Федоровной), и женитьба на польке Иоанне Грудзинской, вдове князя Ловича, лишившие его права на престол, — едва не привел к крушению империи. Во всяком случае, потряс до основания все российское общество.

Но тогда, весной 1823-го, он готов был рвать и метать, что не может бросить все и бежать с юной принцессой на край света, хотя бы в ту же Америку, где, как он слышал, все равны и можно жениться без счету и на ком угодно. Тем более ему стало обидно за свою несвободу, когда та ответила на его чувства. Подтянутый мечтатель-инженер в военном мундире оказался гораздо ближе ее возвышенной душе, нежели с головой погруженный в грубую армейскую жизнь, хоть и не лишенный остроумия, а порою и благородства, шеф лейб-гвардии Московского полка. Однако пре-

словутая немецкая дисциплинированность заставила ее отвергнуть романтическое предложение Николая. В то же время принцесса не отвергла его самого, и они стали тайно встречаться, пользуясь каждым удобным случаем и подходящим местом. Результатом этих встреч, как уверяла любовника Елена Павловна, были рожденные за три года подряд три дочери — Мария, Елизавета и Екатерина. Потом страсти несколько поутихли, встречи стали реже, поскольку обоих вдруг захватили дела. Молодому императору пришлось воевать — то с Персией, то с Турцией, то с польскими мятежниками, а Великая княгиня увлеклась общественно-полезными занятиями, среди которых на первом месте был литературно-политический салон, регулярно сотрясаемый спорами о судьбе России, а из прочих — поддержка науки, медицины, искусства. И следующие две дочери появились уже после четырехгодичного перерыва и с разницей в три года — как бы плоды размеренной семейной жизни. Появились — и умерли: Саша в годовалом возрасте, а Аннушка — в год и пять месяцев. Явно были отпрысками Михаила. Правда, Лизанька и Машенька тоже ушли рано, не дожив до двадцати, но у одной, меньше года прожившей в браке с герцогом Нассауским, причиной стали тяжелейшие роды, а у другой — скоротечная чахотка. Бедной Елене Павловне, не успевшей снять траур по Лизе, пришлось скорбеть по Маше.

Николай Павлович, сам три года как потерявший дочь Александру (муждурак, ландграф долбаный Гессен-Кассельский, не уберег: на седьмом месяце беременности повез жену кататься, и коляска опрокинулась), тихо, стиснув зубы, печалился об утрате девочек — все были красавицы и умницы, только бы жить да радоваться…

— Здравствуй, Николя! — тихо сказала Елена Павловна, переступив порог и припав к широкой груди императора. В кабинете было жарко, мундир Николая расстегнут, ворот белой шелковой рубашки распахнут.

Он обнял ее, поцеловал в лоб и бережно проводил к креслу. Усадил, опустился на пол и, как когда-то давно, в пору их первых встреч, положил голову ей на колени. Он помнил, что она любила запускать тонкие пальчики в его густые волнистые волосы и ласково перебирать их. И она не забыла: пригладила разметавшиеся пряди, выделила одну:

— Вот уже и волосы седые, а ты все такой же.

Он промолчал, только, устраивая голову поудобней, поерзал щекой по черному атласу траурного платья. Она наклонилась и поцеловала его в висок.

Тихо потрескивая, горели свечи в бронзовых шандалах на рабочем столе, заваленном бумагами. В раскрытое окно заглядывал ангел с высоты монферрановского Александрийского столпа. Грустная нежность невидимым облачком окутывала слившиеся фигуры мужчины и женщины, растворяла все желания, кроме одного — чтобы это единение длилось вечно.

Неожиданно громко в устоявшейся тишине захлопали крылья, и на подоконник плюхнулась взъерошенная сорока. Быстро оглядевшись по сторо-

нам, перепрыгнула на стол, туда, где на краю стояла пустая чайная чашка на блюдце, а рядом лежала серебряная ложечка. Сорока схватила клювом блестящую вещицу, и сильные крылья мгновенно унесли ее в сизые сумерки августовской ночи.

— Вот воровка, — беззлобно сказал Николай Павлович и поднял голову. — А так было хорошо!

Он легко для своих лет — пятьдесят один: ни дед, ни отец, ни старший брат столько не прожили — поднялся с пола (Елена Павловна осталась сидеть, уронив руки на колени), прошелся по кабинету, разминая суставы, и остановился у стола, окидывая взглядом груды бумаг. Оглянулся через плечо на гостью:

— Извини, дорогая, что я вот так… пасторально... Голова распухла — не могу решить, кого в Восточную Сибирь назначить…

Елена Павловна улыбнулась:

— Если позволишь, есть у меня кого подсказать... — У нее и через двадцать с лишним лет жизни в России проскальзывали неправильности речи. — Ты должен его помнить... Николай Николаевич Муравьев, тот, который был моим камер-пажом…

— А теперь он генерал! И ты до сих пор ему покровительствуешь!

— Николя, поверь, я немного разбираюсь в людях и политике. Муравьев — тот, кто тебе нужен на этот пост.

От волнения она раскраснелась и стала еще красивей. Император почувствовал, как в нем разгорается желание. Тряхнул головой:

— Уговорила!

Он шагнул к креслу. Елена Павловна протянула руки навстречу…

3.

Николай Николаевич догнал императорский поезд лишь на третьей от Тулы почтовой станции, Сергиевской. Здесь рядом со станцией находился постоялый двор с хорошими комнатами для отдыха проезжающих. Генерала к императору с ходу не пустили — Николай Павлович изволил почивать, — поэтому он остался прогуливаться около гостиницы, а Вагранов с кучером, на случай скорого отъезда, отвели тройку, запряженную в коляску, поближе к выезду из обширного конного двора, заставленного сейчас экипажами.

Розовое ото сна солнце вставало над недалеким лесом. По двору сновали люди — одни с дорожными сумками и ящиками в гостиницу и обратно к повозкам, другие с корзинами и коробками в трактир, занимавший пристройку к гостинице. Видимо, срочно готовился завтрак. Двери трактирной кухни были распахнуты, и наружу изливались тревожащие желудок запахи.

Вагранов раскрыл вместительный саквояж, заполненный снедью на дорогу, вручил кучеру солидный кусок жареной курицы и ломоть хлеба, расстелил на облучке льняную скатерку, выставил бутылку французского вина

и два стакана толстого стекла, разложил пирожки с разной начинкой, ту же курицу, огурчики малосольные и позвал губернатора:

— Николай Николаевич, пожалуйте откушать.

Муравьев подошел, глянул на походный стол и махнул рукой:

— Кусок в горло не полезет. А вы ешьте, ешьте…

И снова отправился мерить шагами ширину гостиницы — от угла до угла.

Недолгое время спустя на крыльце показался Перовский — в министерском сюртуке, но без треуголки, простоволосый. Широко зевнул, перекрестив рот, увидел идущего от угла к крыльцу Муравьева и легко сбежал навстречу:

— Николай Николаевич, а мы вас ждем. Государь уже на ногах.

— А я давно... — растерянно сказал Муравьев, и даже пошатнулся от облившей сердце дурноты: надо же, императора заставил ждать!

Лев Алексеевич дружески взял его за плечи обеими руками:

— Ну-ну, дорогой, не надо так тушеваться. Вы же боевой генерал! Здравствуйте!

— Здравствуйте, Лев Алексеевич, — сипло сказал Муравьев и откашлялся.

— Ну, идемте, идемте, а то и вправду запоздаем...

4.

Николай Павлович стоял посреди комнаты, покачиваясь с носков на пятки и улыбаясь. Он как заснул, так и проснулся в прекрасном настроении, снова и снова вспоминая минуты, проведенные с Еленой. Еленой Прекрасной. Поистине дочерью Зевса и Леды. Он, как Парис, похитил ее у Менелая-Михаила, но Троянской войны не будет. Брат, наверное, знает о «похищении» — при дворе все тайное становится явным, словно стены дворцов имеют глаза и уши, — но мирится с этим и, похоже, даже не обращает внимания. С юных лет у Михаила была одна непреходящая любовь — армия, он круглые сутки жил ее заботами и сильно раздражался, когда его отвлекали от обустройства крепостей и учреждения кадетских корпусов, создания новых видов артиллерии и оснащения армии новым стрелковым оружием, организации гальванических и военно-телеграфных команд и от многих-многих других весьма важных дел. А жена и дети как раз и относились к отвлекающим моментам. Поэтому Николай Павлович не испытывал перед братом ни малейших угрызений совести по поводу своих отношений с Еленой и лишь безусловно поддерживал все его армейские нововведения. Они и вправду были чрезвычайно полезны и своевременны.

Всю дорогу император предавался наслаждающим сердце воспоминаниям и лишь время от времени разговаривал с Перовским о сугубо внутренних российских делах. И при этом, против обыкновения, совсем не раздражался, удивляя многоопытного царедворца покладистостью и благодуши-

ем, подкручивал усы и улыбался в самые неподходящие, по мнению министра, моменты разговора. Улыбка придавала его остро очерченному лицу мечтательное выражение, он об этом, конечно, знал, но не расстался с ней, даже увидев входящих.

Муравьев отдал честь, щелкнув каблуками, левой рукой снял треуголку, оставив ее на сгибе руки, вытянулся.

— Губернатор Тулы генерал-майор Муравьев явился, Ваше Императорское Величество!

Николай Павлович с высоты своего лейб-гвардейского роста несколько секунд молча разглядывал затянутую в темно-зеленый мундир узкоплечую фигуру. Посуровел лицом — мелковат генерал! — и не удивился, заметив плеснувшийся в глазах губернатора испуг: он привык к тому, что его малейшее неудовольствие вызывает неподдельный страх у верноподданных, иногда даже пугал намеренно — это его забавляло.

— Здравствуй, Муравьев, — наконец произнес император. — Вчера, пятого сентября, я подписал приказ о твоем назначении генерал-губернатором Восточной Сибири. Поздравляю! — И протянул руку.

Муравьева обдало жаром. Он знал о борьбе вокруг вакантного места, втайне мечтал занять этот пост, но, если честно, не питал никакой надежды: уж слишком мал был его опыт администратора даже в маленькой Тульской губернии, а Восточная Сибирь — это же половина Российской империи! И вот он — он, генерал-майор Николай Муравьев — внезапно становится ее полновластным хозяином!

Муравьев готов был упасть на колени, но в последнюю секунду удержался, свободной правой рукой подхватил вялую кисть руки своего великого благодетеля и поцеловал.

— Благодарю, Ваше Императорское Величество! — преодолевая комок в горле, выдохнул Муравьев. На глаза от полноты чувств навернулись слезы. — Ваше благоволение ко мне безгранично. Хватит ли у меня сил ему соответствовать?

Николай Павлович взял генерала за подбородок, заглянул в глаза, раздраженно подивился их влажности — надо же, сколь чувствительна натура военного человека, — но вспомнил Елену, и голос его потеплел:

— Надеюсь… Знаешь, Муравьев, я слежу за твоими успехами с первого ордена. Да вот он, за отличие при взятии Шумлы. — Император тронул приказательным пальцем звезду Святой Анны III степени с бантом. — Помню, Великая княгиня Елена Павловна испросила разрешения вручить его тебе. Полюбился ты ей еще с Пажеского корпуса...

— Ее Императорское Высочество я чту, как родную мать, чьей ласки лишился с десяти лет…

— Да-а, орденов у тебя поболе, нежели у меня. — Занятый своими мыслями, Николай Павлович пропустил слова Муравьева мимо ушей, и тот, поняв это, затаил дыхание, ожидая продолжения. — Ты хорошо послужил на воинском поприще и в гражданском управлении успел показаться. — Он легонько тронул генерала за плечо, приглашая пройтись по

комнате. Была у него такая привычка — разговаривать, расхаживая туда-сюда. — Читал я твой отчет по губернии и записку об отмене крепостного права — то и другое недурственно, продумано до мелочей. По отчету я дал надлежащие приказания: о ветхости тюремных замков — графу Клейнмихелю, об уничтожении лесов — вот, Льву Алексеевичу. — Император кивнул в сторону стоявшего недвижно у дверей Перовского. — О развитии торговли и сельского хозяйства — думаю, решится обычным порядком. А вот отмена крепостного права... — Он задумчиво покрутил пальцами. — Брат мой царственный, Александр Благословенный, думал об этом, Перовский вон недавно подал доклад об уничтожении крепостного состояния, да такой обстоятельный, что пришлось для обсуждения специальный комитет создавать. Но из губернаторов ты — первый, кто не побоялся обратиться к императору со столь радикальными предложениями. Как там у тебя? — Николай Павлович снова покрутил пальцами и обернулся к Перовскому: — Напомни, Лев Алексеевич.

— Цель преобразований — избежать в России государственных переворотов, пролития рек крови и ужаса безначалия, — сказал от порога Лев Алексеевич. — Следует не допустить распространения нищеты и появления пролетариев, для чего необходимо превратить всех граждан России в собственников земли, что даст им возможность участвовать в государственном управлении...

— Лихо! — жестом остановив министра, усмехнулся император. — Перовского перещеголял. Впору новый комитет создавать. — И посерьезнел. — Однако десяток тульских помещиков, согласных с тобой, — это еще не Россия. Они-то готовы к такой дерзости, а остальные? Боятся или просто не желают рушить сложившийся порядок? Мне нравится все, что изложено в записке, но не могу я Россию ломать через колено. Прапрадед Петр Великий — ломал, только после его новаций сто лет отдышаться не могли. Поэтому — подождем! Теперь же поезжай в Петербург, принимай дела сибирские, а я вернусь — дам тебе подробные наставления. Пока же скажу: там настоящие Авгиевы конюшни — что в золотопромышленности, что в торговле с Китаем, с которым надобно держать ухо востро... Особо — в отношении реки Амур. О нем еще бабка моя Екатерина говорила как о великой русской реке, без которой России на Тихом океане не встать. Но им займемся позже, а пока будь осторожен. — Николай Павлович остановился, повернулся к Муравьеву всем корпусом, как-то по-особому доверительно тронул генерала за плечо. — Прощай! Да не обижайся, что не остановился в Туле, — я и Воронеж проскочу. Зачем останавливаться там, где порядок? А праздничать некогда.

Муравьев склонил голову, четко развернулся и направился к выходу, но, встретившись глазами с Перовским, понял: этим дело не кончится. И верно: не успел дойти до порога, как его вновь настиг голос императора:

— А у тебя что — нет ко мне никаких просьб?

Муравьев уловил чуть заметный кивок министра и развернулся через левое плечо:

— Есть, Ваше Императорское Величество.

— Излагай.

— За время исполнения мною должности губернатора я неоднократно направлял прошения об удалении от дела людей, наносящих вред оному, и, напротив, о награждении отличившихся, как то случилось на пожаре этим летом, когда мог погибнуть в пламени весь город, однако же, благодаря самозабвенным усилиям пожарных команд, сгорел в центре лишь один дом с усадебными постройками...

— И что же? — нетерпеливо прервал император.

— Ничего, Ваше Императорское Величество! Все мои представления будто в воду канули. Поэтому прошу Вашего вмешательства.

Николай Павлович перевел взгляд на Перовского. Тот встрепенулся:

— Министерство направило ходатайства по инстанции, государь. Но, видимо, нашлись противодействующие силы...

— Хорошо. Напомни, Лев Алексеевич, мне по возвращении. Негоже обходить наградами достойных и оставлять без внимания злодеяния. А ты, Муравьев, будь настойчивей в своих представлениях. Ладно, если больше ничего нет, ступай с Богом!